
Ксения Голубович

Разговоры

Эта небольшая заметка написана на основе многочисленных бесед с Михаилом Рыклиным. Она не претендует ни на какую научность, только на свидетельство, к тому же оплетенное теми мыслями в ответ, что вызывались в ходе этих собеседований. Я надеюсь, что кое-что я услышала правильно, а то, что неправильно, не будет воспринято моим собеседником как совершенно *чуждое*.

Изю всех жанров философии, которые в наши дни поддаются освоению, самой забытой является, пожалуй, прямая философская беседа, «разговоры», как это называли Д. Хармс и компания. До сих пор господствовала эпоха авторского текста, демонстрирующая уровень индивидуальных достижений по освоению приемов и техники философского стиля. Эти приемы и фигуры мысли – то, что в разговорах Рыклин и называет «обязательной программой», как в фигурном катании, – являются свидетельством пригодности. Настоящая сложность, однако, не в них, а в том, как выполняется программа произвольная, чем начинает заниматься отпущенный на волю и оснащенный всем необходимым снаряже-

нием исследователь. Вопрос в том, на что направлена его воля, в каком собеседовании с реальностью он состоит. *Откуда* ты говоришь? Без ответа на этот вопрос невозможно достичь самостоятельности, невозможно получить главное – *приглашение к разговору*. Будучи самым первым и «простым» жанром философии, разговор является и ее высшей наградой: участвовать в общем пиру, собеседовать, как на пиру, среди равных – образ, присущий философии с самого начала. Как говорит Данте, сущность человека – не столько способность к языку, сколько желание быть услышанным. С этой проблемой слышания, как мне кажется, и работает все последнее время Рыклин.

Она оказалась куда более фундаментальной, чем, например, проблема переводимости или непереводимости текста. В качестве *текста*, перенесенного из западной культуры на более «отсталую» русскую почву, усвоено может быть многое. Продукты хорошо отлаженных точных машин переводов и комментариев *Михаила Рыклина* уже прочно вошли в интеллектуальную и книжную жизнь, русский язык ему не отказывает, предложения и параграфы работают. И если бы дело было только в текстовых монологах, если бы все решалось удачами перевода и силой предисловий, то тогда не было бы той работы, которую философ взваливает на себя уже в дальнейшем. Дело не во владении русским языком и даже не в том, чтобы в речи наиболее «продвинутых» из нас ладно укладывались нововведенные категории, а в том, что непереводимым оказывается то, что приводит эти тексты в действие. Непереводимой оказывается *та свобода культуры*, та сетка отношений, которые выступают *гарантами* дееспособности текстов. Этим текстам, появившимся на почве определенной либерально-революционной, критической, просвещенческой культуры, в России *не к кому* обратиться. Мало кто *самим своим* экзистенциальным усилием способен встать с ними вровень. Иначе он бы уже давно был ввязан и в политику, и в противостояние властям, и во множество, причем довольно опасных, социально-политических обстоятельств, которые эти тексты требуют прояснить раз и навсегда: для себя и по возможности для других. Интеллектуал не

может молчать, более того, рассуждая, не может он и удалиться в сферу «моего частного мнения» – он говорит, изменяя структуру мышления, предлагая новые ходы и новые мыслительные привычки *своим* согражданам. Он вводит в интеллектуальный оборот *нечуждый* им опыт, по выражению Рыклина. И потому он конкурирует с властью. Западная Европа непереводаима и неслышима по эту сторону своей границы именно в силу недоступности этого ее главного зерна: носителя той самой свободной мыслящей речи – фигуры, которая не сформирована обществом как ориентир при оценке тех или иных явлений. В этом смысле Михаил Рыклин занимает вполне жесткую позицию: философия *по-настоящему* возможна только там, где такая критическая фигура существует, а вокруг нее существует гражданское общество, способное слышать речь, к нему обращенную. Иные пространства психофизической жизни философскими не являются и плохо поддаются проникновению. Они лишены главного – места «моей речи», а значит, и возможности участия в беседе. Потому что нет ничего хуже для беседы как жанра, когда участвующий говорит «вообще», говорит не от себя и вдобавок *сам себя* не слыша.

В этом отношении становятся ясными многие тексты, написанные Рыклиным как бы в наброске. Тексты, выбивающиеся за рамки научности или же хорошо рассчитанного монологизма, который как автора отличает его. Он ставит перед собой задачу внеконцептуального схватывания, когда, не притворяясь, что *это* подводится под «понятие», указывает, буквально тычет в те феномены, которые держат русский «ум» за рамками философского поля. Если понятие «террор» Рыклин еще заимствует из хорошо разработанной философской традиции, то такое понятие, как «ликование», он берет уже из личной памяти. Позитивность народного «ликования», само насилие «позитивом» – вот что неопишимо и трудно уловить.

Характерная трудность расслышанья русского слова внутри европейского и прежде всего франкофонного интеллектуального пространства, между прочим, связана еще и с тем феноменом, который Рыклин называет «недостаточностью свидетельства».

Сколько бы всего ни говорилось, сколько бы ни перечислялось трагических случаев, жертв, весомая часть самой интеллектуальной традиции Запада, в особенности ее «левого» крыла, покоится на «интеллектуальных инвестициях в СССР». Огромная часть левой критики общества, породившая целую плеяду имен, могла вестись только на основе определенной системы заглушек, понятийных свертываний, процедур производства понятий, когда становится невозможным описать тот опыт, о котором свидетельствует российская история XX века. В этом смысле «террор» – и это уже мое «параллельное» мнение – недостаточен в качестве понятия. «Террора» никто и не отрицал по обе стороны границы; достаточно почитать на эту тему Ж.-П. Сартра или Ж. Батая. Проблема в том, что *в качестве* понятия оно слишком многое дает с собою сделать. Это разработанный термин, одинаково хорошо позволяющий описывать как четкость действия квазитеатральной, риторической машины Французской революции, так и чисто литературные практики (того же маркиза де Сада) и тем самым как будто легитимирующий советский опыт его близостью к традиции Просвещения. А то, что это насилие формирует поле, в котором невозможна деятельность разума *per se*, – вот это легко ускользает от четкой определенности термина. Надо двигаться *далее*, декодируя советское сообщение.

Это «советское» сообщение надлежит представить так, чтобы не очутиться в оголтелом «праволиберальном» крыле, но, оставаясь верным тем именам, на которые ссылаешься как на своих учителей и коллег (прежде всего М.К. Мамардашвили и Ж. Деррида), все же сообщить известие, деконструирующее самые близкие тебе убеждения.

Фигура Вальтера Беньямина, столкнувшегося с той же проблемой после возвращения из Москвы (как возможна критика СССР?), становится отчасти alter ego Михаила Рыклина. Через нее, через судьбу и свидетельство «Московского дневника», возможно совершить «путешествие с Запада на Восток и обратно», возможно построить систему каналов сообщения, позволяющих обоим сторонам слышать друг друга. Второй столь же важной

«переходной» фигурой становится Владимир Набоков, классик обоих миров, расшифровавший оба их кода. А фигурой прямого свидетельства и опыта мышления из внепонятийной реальности является прорвавший молчание Варлам Шаламов, чье имя теперь стало чуть ли не интеллектуальной подписью всей страны, человек, всерьез описавший тот самый – *нечуждый всем* своим согражданам – опыт. Опыт, который равно взывал и к его и к нашей мысли и который теперь становится актуальным для всего мирового философского сообщества. То, что мы «и так знаем», что является зерном, сердцевинкой нашей исторической травмы, постепенно оказывается востребованным, *причем* в наших же собственных «терминах» или «предтерминах», еще только подходящих к порогу терминологизации.

Работа с внепонятийным, с пребывающим на пороге концептуализации, проблема неслышания того, что изначально и рассчитано на глухоту, – такая работа сложна и не всегда благодарна. Куда более простыми случаями «неслышания», обоюдной глухоты являются примеры тех из собеседников, кто все же слышит сам себя и хотя бы отчасти другого. Тогда становятся возможными и сложный перевод понятий, и анализ их достаточности или недостаточности, виртуозная комментаторская работа. Может возникнуть мысль о сути непонимания. Случай такой чистой философской работы Михаила Рыклина, посвященной беседе двоих и ее прерыванию, – это анализ переписки К. Ясперса и М. Хайдеггера, особенно напряженной оттого, что оба ее участника способны довольно глубоко следовать мысли друг друга. И травматическая глухота сначала Хайдеггера, а потом Ясперса, и их отказ от коммуникации носят глубоко исторический и лично переживаемый характер. Как показывает Рыклин, желание продолжить коммуникацию всегда свидетельствует о философской силе и достигнутой мере понимания. А отказ от нее – в конечном счете о большей философской слабости, какой-то глухой некритичности к самому себе, о неумении встретить «взгляд Другого». В этом отношении отход Рыклина от удобной ему, чисто текстовой философской сферы, желание продолжить беседу и тогда, когда еще не выработаны сами сред-

ства такого собеседования, не расшифрованы коды умолчаний и ускользаний, попытка работать в одном только преддверии «договора», работать с тем, что в силу своей природы не хочет тебе давать *права на эту работу*, – все это и есть следование самой философии в новом режиме ее существования. В наше время составлять о каких-то вещах *понятия* нехорошо. Но нехорошо и говорить, что они, эти вещи, неподвластны нашей мысли. И это отчего-то ясно осознаваемое «нехорошо» – по-видимому, единственная примета, по которой мы можем судить, причастен человек миру идей или нет.